

ДИПЛОМАТИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА
в СССР
Джорджа Кеннана



Джордж Кеннан

**Дипломатия Второй мировой
войны глазами американского
посла в СССР Джорджа Кеннана**

«Центрполиграф»

Кеннан Д.

Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана / Д. Кеннан — «Центрполиграф»,

Книга лауреата Пулитцеровской премии, видного американского дипломата, посла в СССР с 1954-го по 1963 г., аналитика, советолога, автора многочисленных трудов по американской дипломатии и внешней политике, повествует о сложном с точки зрения развития ситуации в Европе периоде мировой истории: канун Второй мировой войны, крупные военные конфликты, послевоенный передел Европы и противостояние двух политических систем. Автор представляет свое мнение о происходившем, дает яркие, хотя отчасти спорные портреты Иосифа Сталина и Теодора Рузвельта, других выдающихся политических деятелей, знакомит с личными прогнозами развития России после войны, делает любопытные зарисовки из жизни сталинского окружения и сотрудников иностранных дипломатических миссий.

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Джордж Кеннан

Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана

Часть первая

Глава 1 О СЕБЕ

Конечно, разные люди в различной степени помнят свои детство и юность. Боюсь, что у меня сохранилось об этих временах не так уж много воспоминаний. К тому же в наш стремительный век человека фактически отделяет от его собственного детства большее расстояние, чем в более спокойные времена, когда не было ни таких технологических переворотов, ни демографических взрывов, ни других столь бурных перемен. Углубляясь в эти воспоминания, я вижу перед своим мысленным взором худощавого, тихого, погруженного в себя студента, затем, более смутно, – не очень опрятного кадета военной школы. И уж совсем немного я могу вспомнить о школьнике, который путешествовал из дома в школу и обратно по улицам Милуоки на новом трамвае, поражавшем тогда его воображение, весьма неохотно, с большим неудовольствием посещал по субботам школу танцев и так глубоко погружался в собственные грезы, что мог иногда часами не замечать того, что происходило вокруг. Своего более раннего детства я совершенно не помню. Можно, конечно, утверждать, что этот ребенок был очень чувствительным и с опаской относился к окружающему миру (так как рано лишился матери); однако это по большей части известно по рассказам других или в результате моего собственного анализа в более зрелые годы, а не по моим собственным воспоминаниям.

Другая трудность, с которой я сталкиваюсь, когда пытаюсь рассказать о своей жизни с самого начала, состоит в том, что в моем юном сознании, в большей мере, чем это бывает у других, отсутствовала четкая граница между миром фантазий и переживаний и миром реальности. В детстве мой внутренний мир был моим и только моим, и мне и в голову не приходило разделить мои переживания с другими людьми (со временем это свойство постепенно уступило место большему реализму). Моя внутренняя жизнь в то время была полна волнующих загадок, смутных страхов и того, что принято называть откровениями. Например, необычного вида темное и мрачное кирпичное здание с аркой над входом, неподалеку от нашего дома, казалось мне исполненным жуткой значительности, а в деревьях ближайшего к нам парка Джуно, по моему тогдашнему убеждению, жили эльфы (моя кузина Кэтрин рассказывала об этом моей сестре Фрэнсис, и я, конечно, поверил в этот рассказ).

С другой стороны, сами мои воспоминания отличаются неопределенностью и расплывчатостью. Может быть, в том таинственном и жутком кирпичном доме в конце нашей улицы действительно происходили какие-то страшные вещи, и смутные догадки об этом родились в чуткой детской душе. И как я могу быть уверенным, что в деревьях парка никогда не жили эльфы или иные чудесные существа? В жизни случались иногда вещи и более удивительные. Сейчас, конечно, в парке Джуно едва ли можно найти подобные чудеса, и все сказочные существа, должно быть, давно сбежали, напуганные обилием машин в Милуоки (из-за этих машин исчезло уже многое, составлявшее прежде прелесть этих мест). Но кто может сказать точно,

что там было, а чего не было в 1910 году? Вещи таковы, какими мы их видим. Я тогда по-своему смотрел на этот парк, и мой взгляд предполагал существование эльфов. Что здесь было правдой, а что фантазией, и до какой степени, этого никто никогда не узнает. Возможно, подобные загадки можно прояснить с помощью психоанализа по Фрейдю. Имело бы смысл это делать, будь я большим художником, крупным преступником или просто человеком исключительным в хорошем или дурном смысле. Но я не принадлежу к таким людям.

Здесь следует упомянуть о двух семейных обстоятельствах. Почти все предки моего отца (которые в начале XVIII столетия переселились в эту страну из Ирландии) были фермерами. Один из них стал пресвитерианским священником, другой – полковником революционной армии и депутатом первого законодательного собрания в штате Вермонт, но все они при этом продолжали заниматься и фермерством. Позднее мои предки переселились в штат Нью-Йорк, потом – в Висконсин. Их жены происходили также из фермерских семей.

Все это были люди грубоватые и не всегда привлекательные. Образование и светскость несколько больше интересовали женщин, нежели мужчин. Мой отец первым из них получил высшее образование. Прежде всего им было свойственно тогда жесткое своеволие и нежелание общаться с другими людьми (не считая церковных общин). Они всегда стремились освободиться от любого общества, которое могло бы ограничить их индивидуальную свободу.

Представители нашего рода не были ни богатыми, ни бедными, все они привыкли работать. Не имея капиталов, они никогда не сожалели об этом, не завидовали богатым и не ображались с упреками к властям. Главным для них была их страсть к самостоятельности. От правительства они требовали только, чтобы оно оставило их в покое. Когда бывало трудно (а так было не раз), они жаловались Богу, а не в Вашингтон. Человек, произошедший из такой семьи в XX столетии, должен быть лишен как чувства превосходства, так и чувства неполноценности, свободен от социального недовольства и готов воспринимать всех людей как равных, независимо от расы или национальности.

Такое положение интересно сопоставить с классическими основами марксизма: никто из моих американских предков не был, в сколько-нибудь значительной степени, нанимателем рабочей силы и сам не продавал своего труда работодателю. Трудно представить другую семью, столь далекую от того классического положения, которому Маркс и его последователи придавали существенное значение. Это обстоятельство сказалось, когда я, став уже взрослым, начал иметь дело с последствиями русской революции – первого крупного политического триумфа марксистов. Я никогда не придавал значения всеобщей истине классическому марксистскому противопоставлению капиталистов – кровососов и эксплуатируемых, попранных, но социально чистых рабочих. Однако если говорить о степени, в которой это положение отвечало реальности, то лично я не имел к этой реальности никакого отношения, ни по собственному опыту, ни по опыту моей семьи. Я не могу отождествить себя ни с эксплуататорами, ни с эксплуатируемыми. Если говорить о реальной социальной несправедливости и эксплуатации, которую имели в виду марксисты, то, по моему убеждению, это скорее трагическое недоразумение ранней эпохи индустриального развития, а не драматическое противостояние демонов и ангелов.

Дело в том, что уклад жизни первых фермеров, создавшийся в XVIII веке, фактически сохранился до 60-х годов XIX века (нечто подобное произошло на американском Юге или в России). Культура XVIII века, свойственная подобным семействам, не походила ни на культуру дореволюционной Франции, ни на культуру лондонского света. Это были пуританские устои Шотландии и Северо-Восточной Англии. Удаленность нашего края защитила нас от последствий наполеоновских войн, а сохранение фермерского уклада – от последствий индустриальной революции. Мой дед, достигший зрелости в эпоху Гражданской войны, воспринял манерность и аффектации Викторианской эпохи и даже получал от них удовольствие. Моему отцу эти черты были тоже отчасти свойственны, но он воспринял их механически и сам понимал их искусственность. Начало нового века он встретил с тревогой и отчасти с неприязнью и стре-

мился найти убежище в свойственной его юности атмосфере задержавшегося XVIII века (он родился в 1851 году). Эта духовная атмосфера до известной степени сказалась и на нашей домашней обстановке, когда мы были детьми. И поэтому я чувствую себя не очень уютно в качестве человека XX века. Единственное преимущество, которое я могу извлечь из этого неудобства, – относительная независимость. При всех недостатках такого положения это чувство все же помогает мне быть если не хозяином, то гостем своего времени.

Второе семейное обстоятельство состоит в том, что есть другой Джордж Кеннан, очень известный человек, родившийся лет за шесть до моего отца. Многие считали (а некоторые и теперь считают) меня сыном того Кеннана. Это вполне объяснимая ошибка, поскольку он в действительности был кузеном моего деда. Кроме того, есть известное сходство моего жизненного пути и жизненного пути этого Кеннана-старшего,¹ дающее мне основания считать, что между нами существует некая общность, более глубокая, чем дальнее родство. Мы с ним не только были тезками, но и родились в один день года. Мы оба бывали в России и занимались ее проблемами; оба были высланы российским правительством, каждый – в свою эпоху.² Оба мы были профессиональными литераторами и лекторами, оба играли на гитаре, оба любили парусный спорт, оба стали членами Национального института литературы и искусств. Наконец, мы оба, каждый в свое время, пытались в Америке выступить за лучшее понимание геополитических интересов Японии.

Своих детей Джордж Кеннан-старший не имел, и, хотя я считаю себя в полной мере духовным сыном собственного отца, вместе с тем у меня есть известное чувство долга, в том смысле, что мне следует по мере сил продолжать дело моего знаменитого тезки. Иначе говоря, я считаю нужным делать то, чего ожидал бы Кеннан-старший от своего сына, если бы он у него был. Насколько этот мой родственник одобрил бы мою деятельность – судить не мне.

Для полноты картины моей подготовки к дипломатической карьере упомяну о полученном мною высшем образовании.

В Принстонский университет я попал прямо из военной академии при не совсем обычных обстоятельствах. Здесь сыграли свою роль мое увлечение сочинением Скотта Фицджеральда «Райский уголок» в последнем классе школы, а также отчасти – поддержка и участие Генри Холта, декана нашего факультета в военной академии.

Я прибыл в Принстон сентябрьским вечером 1921 года, проехав на такси по университетскому городку. Увидев сквозь окно автомобиля очертания готического Холдер-Холл, я дал волю своему богатому воображению. Это здание будто бы окружено ореолом таинственности и великолепия. Реальность оказалась, конечно, несколько иной. Я был последним студентом, допущенным к занятиям, и не знал ни души ни в университете, ни в городе. Я получил последнюю меблированную комнату в мрачном доме для студентов за пределами университетского городка, куда в то время отправляли запоздавших новичков. Я был на год моложе большинства студентов моей группы и еще более неопытен, чем можно предполагать, судя по моему возрасту. Типичный уроженец Среднего Запада, я совсем не знал, как общаться с ребятами с Востока.

Тогда я знал только два основных настроения – неуклюжее высокомерие и кипучий энтузиазм. Кроме того, мне всегда была свойственна известная пассивность и отсутствие любопытства к устройству той системы, в которую я попал. Застенчивость мешала мне расспрашивать людей, что здесь к чему, и поэтому я, находясь в Принстоне, завел очень мало знакомств.

¹ Речь идет об американском публицисте Дж. Кеннана (1845–1924), побывавшем в XIX в. в России. (Здесь и далее примеч. пер.)

² Дж. Кеннан-старший выступал в защиту русских революционеров-террористов; Дж. Кеннан-младший в 50-х гг. XX в., будучи послом в СССР, отозван по требованию советского правительства за антисоветские демарши.

Кроме того, мне очень не повезло. Из-за отсутствия денег я не мог поехать домой на Рождество, а беспокоить отца, который мог бы их выслать, я не хотел. Поэтому я устроился на временную работу почтальоном в соседнем Трентоне. Утром в первый день новой службы начальник вручил мне сумку со связками писем и сказал, что вся эта корреспонденция сложена в строгом порядке. Мне остается только найти начало нужной улицы, а дальше сами письма помогут мне доставить их по адресам. Мне предстояло отправиться с письмами на трамвае в южную часть Трентона, в городские трущобы. В тот день с утра шел снег. Доехав до нужной остановки, я вытащил первую пачку писем и неловко спрыгнул на тротуар. При этом пачка вдруг развязалась у меня в руке, а письма попадали на пол трамвая и на проезжую часть улицы. Я стал их поспешно собирать, рискуя попасть под трамвай или троллейбус. Когда мне все же удалось выполнить свою задачу, я отправился в путь. Однако письма теперь были перепутаны, и ни о какой последовательности номеров домов не могло быть и речи. Целый день я метался по грязным, мрачным улицам, чтобы найти нужные адреса, беспокоя прохожих своими расспросами, постоянно звоня в двери и содрогаясь от запахов, доносившихся из жилищ, и зрелищ, которые передо мной открывались. Лишь поздно вечером я закончил работу и смог поесть, впервые за целый день, в каком-то захудалом кабаке. Так прошло несколько дней, похожих один на другой, хотя уже и без таких происшествий.

Накануне Рождества мне удалось заработать 27 долларов, чтобы купить билет в общий вагон и отправиться в родной город.

Однако, то ли в трущобах Трентона, то ли в общем вагоне, я заразился скарлатиной. Болезнь, свалившая меня в постель внезапно, в один из вечеров перед Новым годом, стала потрясением для всей моей семьи. Пенициллин тогда еще не был внедрен в практику медицины, и мои домашние имели основания ожидать самого худшего. Я лежал в особой комнате на третьем этаже под надзором опытной медсестры. Карантин продлился почти до Пасхи. Выздоровев, я вернулся в университет в разгар весны, когда академический год подходил к концу. Студенты уже перезнакомились и подружились, образовались сплоченные компании, и попасть в одну из них было теперь очень трудно, особенно человеку, который был младше других, отставшему в учебе, временно выключенному из занятий спортом и слишком бедному, чтобы участвовать в большинстве общих развлечений.

Поэтому я тогда жил «на обочине» университетского городка, и меня мало кто замечал. На втором курсе, в дни начала составления клубов, я, из ложной гордости и желания быть «страдальцем», старался не появляться на людях. Когда же однажды вечером ко мне домой явились студенты, чтобы пригласить меня в один из немногих клубов, где еще не набрали членов, я так поразился этим внезапным вниманием к моей особе, что быстро принял предложение. Однако потом меня стали мучить угрызения совести в связи с этим поспешным согласием, и наконец я заявил о выходе из клуба. После этого несколько месяцев я обедал в особой столовой, вместе с другими «париями», не включенными в состав клубов.

Обедать в этом мрачноватом помещении было маленьким удовольствием. Лишь немногие из «отверженных» обществом не переживали по этому поводу, и мы даже избегали разговоров между собой, опасаясь как-нибудь невзначай задеть чувства собеседника. Из этого жесткого опыта я извлек для себя некоторую пользу. Именно в это время я вдруг осознал, что мне следует выработать самооценку, а не исходить во всем из стандартов окружающих, поскольку они вполне могут ошибаться, оценивая других людей.

Конечно, были и у меня приятели, такие же неприкаянные уроженцы Среднего Запада. В Бернарде Гафлере, интеллектуале-католике из Канзаса, я нашел товарища, с которым мы целыми вечерами вели философские дискуссии, оказавшиеся для меня очень полезными. В дальнейшем наше товарищество укрепилось, поскольку мы оба стали служить в Госдепартаменте. Приятным и полезным было, конечно, мое общение и с моим кузеном и земляком Чарли Джеймсом, несмотря на его более молодой возраст. В течение одного академического

года я сблизился со студентом, носившим запоминающееся имя Константин Николас Мемссолонгит, уроженцем Огайо, еще беднее меня и наивнее в смысле знания жизни американского Востока. Прирожденный журналист, он впоследствии стал одним из редакторов газеты «Нью-Йорк геральд трибюн». Его эллинский гедонизм представлял собой хороший противовес моей нервозности. С этим человеком я чувствовал себя хорошо. Летом мы общими усилиями оплатили нашу поездку в Европу. Однако теперь я вспоминаю об этом без радости и удовлетворения. Мы видели мало и не запомнили ничего, зато доставили немало хлопот разным людям, которые по доброте своей помогали нам или вынуждены были заниматься нашими делами (как тот консул в Генуе, пытавшийся избавить нас от естественных последствий нашей собственной непредусмотрительности). К тому же генуэзские портовые кабачки оказались не лучше трущобных в Трентоне. Там я заразился дизентерией, последствия которой сказывались в дальнейшем долгие годы. Поэтому неудивительно, что Принстон не показался мне похожим на «райский уголок» в духе Фицджеральда.

Я плохо знал своих педагогов и не могу даже вспомнить, встречался ли я с ними вне официальной обстановки. Значительного идейного влияния на меня они не оказали, но некоторых из них я очень уважал за силу ума и цельность. Их образы запечатлены в моей памяти.

Одним из таких людей был Раймонд Сонтаг, впоследствии – профессор европейской истории в Калифорнийском университете и издатель «Документов по внешней политике Германии». Я уже не помню его концепции истории дипломатии, но мне всегда импонировали его скептицизм и отсутствие иллюзий, что не мешало ему с интересом относиться к своему делу. Другим интересным человеком являлся профессор Грин, преподававший младшекурсникам дисциплину, именуемую «введением в историю». Этот очень требовательный педагог, не делавший поблажек студентам, которые не могли освоить курса, постоянно имел некоторые проблемы в деканате. Благодаря его ревностному отношению к делу, материал его курса я помню лучше других. Однако в памяти у меня остался прежде всего образ основательного ученого и принципиального педагога. Позднее этот профессор переехал в Вашингтон, стал работать в Госдепартаменте и проводить аттестацию государственных служащих. При этом он сохранил ту же бескомпромиссность, суровость и неуступчивость, и я иногда задавался вопросом, не вызывал ли этот человек у своих руководителей такого же беспокойства, как в свое время у декана факультета. За свои труды он был впоследствии «вознагражден» тем, что его не только уволили, но и демонстративно не пригласили для консультации, когда в 1953 году пересматривали всю аттестационную систему. Однако этот бескомпромиссный человек, стоявший у истоков системы аттестации в Госдепартаменте, заслуживает признания, которого он, к сожалению, так и не получил.

Я благодарен и еще одному преподавателю (к сожалению, даже его имени я не помню). Из-за скарлатины мне пришлось на втором курсе изучать предмет, предназначенный для первокурсников, – английскую классическую литературу. Этот курс почему-то вызывал у меня раздражение, и я под разными предлогами пропускал занятия. Мне казалось, что литературу надо изучать вовсе не так, не определять в пьесах Шекспира сюжет, кульминацию и т. д., а анализировать чувства героев и философские проблемы, затронутые автором. Если же Шекспир кого-то не интересуется, то тут не поможет никакой филологический анализ. Наконец молодой преподаватель, который вел этот курс, вызвал меня и вежливо, но настойчиво потребовал дать объяснения происходящему. Я признался ему в своем неприятии самого предмета и пообещал честно постараться исполнить его требования. Я сделал это в своеобразной форме, представив педагогу сочинение о том, что, по моему мнению, делается неверно в преподавании английской филологии в американских колледжах. Вернув мне сочинение с высшей оценкой, мой наставник преподавал мне урок великодушия и таким образом пристыдил меня. Так скромные строители, чьи имена не сохранились в моей памяти, из года в год возводили педагогическое здание.

Я окончил университет так же незаметно, как и начал свое обучение там, и, не считая выдачи дипломов, не участвовал ни в каких заключительных церемониях.

Мне трудно воссоздать портрет того времени, и лучше было бы этого не делать, но порой это бывает необходимо. Я, по собственным воспоминаниям, был довольно обычным молодым человеком, с довольно обычными слабостями и страстями. Я помню себя слабовольным, несколько изнеженным мечтателем со свойственной повышенной чувствительностью, идущей от конституции и семейного воспитания. Многие люди более мужественно переносили неизбежную жесткость жизни. Моим достоинством был живой, гибкий ум, который я не был склонен заставлять работать, будучи предоставленным самому себе, однако он позволял мне, когда нужно, хорошо решать поставленные задачи и правильно реагировать на ситуацию. У меня не было никаких заранее определенных, предвзятых идей. В Принстонском университете мои наставники хорошо поработали над развитием моих умственных способностей, исходя из образовательных возможностей своего времени. Прежде всего мне дали хорошие знания по классической литературе. Я с большим интересом изучал там современную историю и политологию. Однако для развития моих эстетических склонностей (как, например, к музыке) у меня было мало возможностей. В моей семье, как вообще в пуританских семьях, этому не уделялось большого внимания, а в Принстоне предметы по эстетике не входили в обязательную программу. Никто ко времени окончания университета не научил меня разбираться в живописи или в архитектуре.

Можно сказать, что я получил хорошее образование, но дух мой не был пробужден. Не формировали университетские педагоги у своих воспитанников и четких концепций или убеждений. Я только помню, что у меня были смутные представления о либерализме Вильсонов, сожаления, что Америка не вошла в Лигу Наций, вера в ценности свободной конкуренции и неприязнь к высоким тарифам. Помимо этого других концепций я не имел. Кто-то упрекнул бы за это университетских преподавателей, но, по-моему, это было правильно. Цель университета – подготовить человека к формированию у него собственных предубеждений, а не прививать ему предубеждения, свойственные университетской среде.

Чего мне, пожалуй, недоставало тогда, так это общения со старшими и более мудрыми наставниками. Мой 70-летний отец, человек честный и скромный, слишком хорошо понимал свою оторванность от современности, чтобы пытаться быть моим учителем. Он только иногда напоминал мне, чтобы я, находясь далеко от дома, все же не забывал ходить в церковь. Я любил этого застенчивого, одинокого и не очень счастливого человека и сочувствовал ему, но свободного интеллектуального общения между нами не было.

Окончив университет, я решил поступать на службу в ведомство иностранных дел, созданное только в 1924 году. До этого у нас в стране имелись две службы – дипломатическая и консульская, теперь же их решили заменить одной профессиональной организацией. Насколько теперь помню, я тогда принял такое решение, потому что не знал, чем еще смогу заниматься, тем более что в колледже с большим интересом и довольно успешно изучал внешнюю политику. Я боялся серьезно ошибиться в своем выборе. Удивительно, но факт – мой тогдашний выбор оказался правильным. Это было первое и последнее самостоятельное решение, которое я принял относительно своей профессиональной деятельности. В те времена для поступления на эту службу следовало окончить курсы или получить необходимую подготовку самостоятельно, а весной сдать устные и письменные экзамены.

Летом 1925 года, сразу после окончания университета, я работал матросом на судне, курсировавшем между Бостоном и Саванной (Джорджия), и заработал немного денег. 1 сентября я приехал в Вашингтон и устроился на жительство в пансионе на Черч-стрит, после чего стал проходить курс обучения у одного педагога – шотландца, зарабатывавшего репетиторством.

Помню, я очень боялся экзаменационную комиссию, которой руководил помощник госсекретаря Джозеф Грю. Когда я только начал рассказывать о себе, мой голос от волнения и

страха сорвался на фальцет, так что я не смог даже произнести название родного штата Висконсин, чем рассмешил всю комиссию К моему собственному удивлению, меня приняли на службу с указанием приступить к своим обязанностям с будущего сентября.

Лето следующего года я решил провести в Германии. Я посетил Гейдельберг, где осматривал достопримечательности, слушал публичные лекции и познакомился с приятной брюнеткой, с которой мы вместе не раз ходили гулять по вечерам за город, туда, где обычно прогуливались влюбленные. Однажды меня посетил мой германский дядя, уроженец старого Франкфурта, очень образованный и милый человек, с которым мы гуляли, осматривая развалины старинного замка, разрушенного французами в XVII веке.

Из Гейдельберга я переехал в Берлин, а оттуда – на курорт Банзин на Балтийском море. Там я с помощью словаря читал «Гете» Фауста и «Закат Европы» Шпенглера. Все это время я практически не говорил по-английски.

Давным-давно, когда мне было восемь лет, меня возили в Германию, где я жил с мачехой и младшей сестрой в пансионе в Касселе (летней резиденции кайзера). Мой отец, знаток немецкого языка, считал, что наиболее чисто говорят по-немецки именно в этой части Германии. Я очень смутно помнил в 1920-х годах свое первое пребывание в Касселе. Однако немецкий язык, который я в свое время воспринял ребенком, теперь, при специальном изучении, давался мне легко, и к концу лета я его вполне освоил.

Первые семь месяцев своей новой службы я провел в так называемой Школе иностранных дел, которая тогда находилась на первом этаже старого здания Госдепартамента и военно-морского министерства. Там мы, хотя и без особого внимания, слушали лекции о визах, паспортах и других дипломатических формальностях, а также время от времени участвовали в практических занятиях, как, например, когда нам дали задание представить себя на месте посла в Англии, покидающего свой пост. От нас требовалось написать проект письма к британскому министру с объяснениями обстоятельств его отъезда и просьбой об аудиенции для себя у короля, а для своей супруги – у королевы. На этом и других подобных примерах мы постигли, что составление дипломатических документов – особое искусство, которым необходимо овладеть. По окончании этого курса меня послали на первую, временную, службу – в наше генеральное консульство в Женеве. Людям, склонным к исканиям и нуждающимся в хорошей школе, дипломатическая служба предоставляет такую возможность. Постоянная смена обстоятельств действия, многочисленные интеллектуальные стимулы, знакомство с жизнью других народов и работой правительств помогают значительно расширить кругозор людей, желающих узнать о многом, но стесняющихся задавать вопросы.

Особенно помогает во всем этом вновь обретенное чувство ответственности. Я с большой радостью почувствовал, что на этой работе обретаю как бы новое собственное «я» взамен прежнего, погруженного в себя и склонного к бесплодным переживаниям вместо действий. В связи с этим я вспоминаю наш официальный прием по случаю 4 Июля в отеле «Бо риваж» в Женеве. В роли нового вице-консула я, вместе с другими должностными лицами, обязан был играть роль хозяина, принимающего гостей, постоянно являвшихся на прием. Вскоре я почувствовал, что занимаю свое законное место в этом церемониале и отвечаю за благополучное его проведение, а потому я уже не совсем принадлежу самому себе. Таким образом, я почувствовал себя полезным обществу. Благодаря этой роли гостеприимного хозяина, я впервые ощутил в себе силу и уверенность, которая в дальнейшем очень пригодилась мне в моей дипломатической карьере. После этого только в моей домашней жизни возвращались ко мне прежняя нерешительность и закомплексованность. Подобно актеру, играющему на сцене, я увидел себя самого как бы со стороны и усвоил свою новую роль в общественной жизни.

Моя женевская служба продолжалась до конца лета 1927 года. Я приобрел там опыт консульской работы и хорошую практику во французском языке. По окончании срока службы меня перевели на постоянную работу в Гамбург.

Этот крупнейший порт континентальной Европы был социал-демократическим городом, где проводился великий эксперимент по реализации гуманного социализма. Но в то время в этом городе, как нигде, кроме разве самого Берлина, ярко проявлялась моральная и интеллектуальная агония Веймарской республики. Эта драма произвела на меня очень сильное впечатление. Впервые в жизни меня занимали события, не касающиеся моего собственного «я». Я стал посещать прекрасные муниципальные вечерние курсы для взрослых. Еще я любил Гамбургскую гавань (море всегда было моей страстью). Моя работа вице-консула прямо связана с американским флотом и моряками, и я нередко принимал у себя в кабинете капитанов и моряков, попавших в затруднительное положение.

У меня сохранились живые воспоминания о шести месяцах, проведенных на этой службе, и на их основе я составил себе представление о Европе после Первой мировой войны. В моем дневнике сохранилась запись о том, как в одно дождливое воскресное утро я впервые увидел коммунистическую демонстрацию – передо мной прошли колонны бедно одетых людей с угрюмыми лицами, которые маршировали под намокшими от дождя плакатами и красными знаменами. Это зрелище очень тронуло меня – я почувствовал торжественную серьезность этих людей, в другие дни вынужденных униженно молчать, для которых сегодня – их день, и они полны решимости заставить себя услышать хотя бы только благодаря своим лозунгам и своей многочисленности. Сохранились у меня и записи о лекциях. Их читал невысокий бородач с глазами, постоянно выражавшими страдание. Он читал нам горькие стихи австрийского поэта Франца Верфеля о недавней войне, и тогда мне открылся весь трагический пафос послевоенной Германии. Этот человек был далеко не единственным из встреченных мной, кто думал и чувствовал подобным образом, пытаясь найти новую, более высокую философию для себя и для своей страны.

Все эти новые впечатления показали мне, как постыдно нелюбознателен я был до сих пор и каким, в сущности, поверхностным было мое образование. Мой новый опыт убедил меня: прежде чем продолжать работу, надо продолжить профессиональное и общее образование. Вот почему я объявил о намерении уйти в отставку и зимой 1927/28 года появился в Госдепартаменте, чтобы официально оформить уход со службы. К счастью, первым, кого я там встретил, был мой прежний начальник и преподаватель Школы иностранных дел У. Доусон. Подобно ангелу-хранителю, он предостерег меня от этой глупости и объяснил, что если я желаю продолжить образование, то мне нет никакой необходимости увольняться со службы. Например, если я желаю стать специалистом по одному из сравнительно редких языков – китайскому, японскому, арабскому или русскому, – то могу стажироваться три года в одном из европейских университетов, не оставляя дипломатической службы. Я и поныне благодарен мистеру Доусону за то, что он помог мне решить эту проблему. Я выбрал русский язык отчасти потому, что у нас тогда не было дипломатических отношений с СССР, и логично предположить, что со временем в этой области откроются перспективные возможности для специалистов по языку. Но кроме того, мне хотелось продолжить родовую традицию Джорджа Кеннана-старшего.

Мое заявление о желании специально изучать русский язык приняли, и летом 1928 года я смог начать подготовительную и академическую работу в избранной области.

Глава 2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В РОССИИ

Пять с половиной лет отделяло начало моей профессиональной подготовки к дипломатической службе в России от моей первой работы в Москве. Эти годы я провел либо в Берлине, либо в Таллине и Риге. Об этих годах писать не так легко. Интересных событий в это время было немного, а для личной жизни в подобном повествовании остается мало места. Судя по моим дневниковым записям той поры, я находился чаще в окружении природы, чем в окружении людей; да так оно, пожалуй, и было. Мои поездки по балтийским странам многому учили меня самого, однако, если их описывать без беллетристики, читателю они скорее покажутся монотонными и скучноватыми.

Курс страноведения продолжался тогда от года до полутора, с последующей трехлетней стажировкой в одном из европейских университетов. Поскольку мы не имели дипломатических отношений с Советским Союзом, поле нашей деятельности такого рода представляли собой Таллин, Рига и Ковно, в то время столицы Эстонии, Латвии и Литвы, где у США были дипломатические представительства. Все эти страны – недавняя часть Российской империи, вскоре им снова предстояло войти в состав России. Во всех трех государствах находились люди, говорившие на русском языке, и существовали очаги русской культуры.

По причинам, которых я точно не помню (возможно, срочное занятие вакансии в Берлине), я не сразу отправился в Прибалтику, а был временно прикомандирован к берлинскому генконсульству. Об этом периоде у меня сохранилось мало воспоминаний. Обязанности мои сводились в основном к администрированию в клубе для приемов, на которых бывали дипломаты и банкиры. В тот же период я изучил русский алфавит. По окончании командировки я уехал в Штеттин, а оттуда на корабле отправился к месту моего назначения.

Должность вице-консула в Таллине – моя первая работа в период подготовки к службе в России. Таллин в то время (надеюсь, он остается таким и теперь) – милый старый ганзейский город, северное напоминание о немецком Любеке. Он стоит на берегу Финского залива, в 60 милях по прямой от Хельсинки и в 250 милях от Петербурга. В то время таллинское генеральное консульство было единственным американским дипломатическим представительством в этой столице. Консул имел также ранг секретаря и таким образом аккредитовался при эстонском правительстве; я же имел только консульский статус. Консулом тогда был беспокойный человек средних лет, из тех, кто вечно не очень уверен в себе и постоянно боится сделать какую-то ошибку. Поэтому он в значительной мере полагался на своего эстонского советника. Последний, напротив, уверенный в собственной непогрешимости (качество, по моим наблюдениям, свойственное многим представителям мужского пола к востоку от Вислы и Дуная), претендовал на всезнание. При таких обстоятельствах я был практически отрезан от серьезной дипломатической работы и занимался в основном организационной: оформлением виз, ведением делопроизводства, защитой интересов отдельных лиц. Такая небольшая загрузка работой мне даже немного нравилась.

В то время, по моим воспоминаниям, в Эстонии проживало девять американских граждан; пятеро из них – в Таллине: консул с женой, супружеская пара – члены ИМКА³ и я. Однажды консул пригласил меня провести уик-энд на даче на западном побережье. Почему-то там ко мне вернулись мои худшие невротические реакции студенческих времен. Я ни с кем

³ ИМКА – христианская молодежная организация.

не общался, сторонился людей и вызывал неприятное недоумение небольшого дипломатического общества, которое там собралось. Кроме того, я никогда не бывал в гостях у эстонцев, не старался изучить эстонский язык и вообще не очень интересовался Эстонией. Получилось так, что я жил там преимущественно в одиночестве, довольствуясь обществом кокер-спаниеля. Но у этого отшельничества были и положительные стороны. В компании той же собаки я совершил по выходным дням немало экскурсий – в Хельсинки, Нарву, университетский город Тарту (Дерпт), а также в русскоязычную провинцию на юго-востоке страны. Мне очень нравились эти путешествия, оживлявшие мою жизнь в Таллине. Кроме того, в это время я начал основательно изучать русский язык.

Моим учителем стал один обедневший украинец, который никогда не преподавал языков, однако у него было одно достоинство: он, кажется, ни слова не знал ни на одном языке, кроме своего родного и русского.

Мой учитель принес мне буквари для первого класса русских школ в Эстонии. Мне пришлись по душе эти книжечки с красивым славянским шрифтом, включавшим и те буквы, которые большевики исключили из русского алфавита. Там можно было прочесть русские сказки и отрывки из русских классиков, восторженно писавших о зиме и о катании на салазках. Я даже заучил наизусть несколько таких стихов. С тех пор я увлекся великим русским языком, богатым интонациями, музыкальным, иногда – поэтичным, иногда – грубым, порой – классически суровым. Любовь к этому языку не раз помогала мне в трудные периоды моей дальнейшей жизни. Признаюсь, я сознательно перефразировал одно тургеневское стихотворение в прозе о русском языке, прочитанное мною в одном из учебников. Русский язык я усваивал как-то естественно, будто когда-то в незапамятные времена уже знал его, а теперь вспоминал нечто давно забытое с чувством приятного волнения. Я даже совершил своего рода паломничество на Рождество в Псковско-Печерский монастырь, находившийся неподалеку от советской границы. Это был настоящий уголок России XVII века. Здесь все говорили только по-русски, и я значительно улучшил свои знания языка.

В начале 1929 года меня перевели в американскую дипломатическую миссию в Ригу – тогда более крупный город, чем Таллин, хотя и не такой центр общественной жизни, как до революции. Здесь проживали много западных европейцев, как дипломатов, так и постоянных жителей, в основном – оставшиеся с царских времен представители британской торговой колонии. Приезжающие сюда были вовлечены в активную жизнь местного западноевропейского общества.

К стыду своему, я затрудняюсь вспомнить, чем конкретно я занимался на этой службе. Официально моя подготовка к работе в России еще не началась, и я не принимал участия в деятельной жизни русской секции дипломатического представительства. Однако занимался какой-то текущей работой и переводил статьи из местной русской газеты о политике Латвии.

Рига – космополитический город, где на международном перекрестке культур выходили газеты и ставились спектакли в театрах на латышском, немецком, русском и идише; где работали лютеранские, католические, русские православные и иудаистские религиозные общества. Латыши, которым принадлежало политическое господство, в последний период своей независимости все больше становились шовинистами, решились наконец покончить с этим космополитическим разнообразием и действительно к 1939 году добились многого, в значительной мере лишив Ригу, прежде именуемую «Парижем Балтики», ее былого очарования.⁴ Их усилия в 1940 году завершились самым неожиданным для них образом – русской оккупацией и включением Латвии в состав СССР, после чего великолепная многонациональная Рига погрузилась

⁴ Имеется в виду германофильский и пронацистский режим К. Ульманиса (1934–1940).

в сумрак изоляции за непроницаемыми стенами сталинской России, а латышский национальный шовинизм был наказан свыше всякой меры.⁵

В Риге в то время бурлила ночная жизнь, выдержанная во многом в петербургском стиле, – с водкой, шампанским, цыганами, катаниями на санях или на дрожках. Но все это веселье смешивалось с ностальгической грустью, тоской по ушедшим дням. Рига во многих отношениях – это уменьшенная копия старого Петербурга, один из тех случаев, когда копия переживает оригинал. В Риге еще сохранился уголок царской России, дававший представление о жизни при царе. В нашем посольстве еще работали люди, прежде сотрудничавшие в посольстве Петербурга, и я, основываясь на этих своих впечатлениях, пытался воссоздать картину жизни старого петербургского посольства в 1917–1918 годах в книге «Россия выходит из войны».

В Риге я жил вместе с другими несемейными мужчинами в специально отведенных апартаментах на верхнем этаже огромного здания в немецком стиле, которое почему-то называли Форбургом. Мои товарищи были людьми умными и образованными, большими любителями поговорить и поспорить. Погода здесь девять месяцев в году стояла ненастная и промозглая, и во время длинных, дождливых вечеров мы сидели у окон, любовались видом на порт, открытый для советской транзитной торговли, и вели бесконечные споры о Советской России, марксизме, капитализме, крестьянском вопросе и т. д. Новые люди приезжали и уезжали, подобно участникам игры в рулетку, и каждый из них вносил свой вклад в наши продолжительные дискуссии. Отсюда я тоже совершал экскурсии – в Ковно, Вильно⁶ и Мемель.

Но больше всего нам полюбилось летнее Рижское взморье, где вдоль песчаного морского берега среди огромных сосен стояло множество дач в русском стиле. Я даже снял для себя один маленький однокомнатный домик на этом побережье и с удовольствием купался в море в июньские и июльские дни. Но особенно полюбил я ночные купания в то удивительное, таинственное время сумерек, которое наступает здесь на несколько недель в разгар лета; в Петербурге оно называется белыми ночами.

Летом 1929 года я снова отправился в Берлин, чтобы формально начать академическое изучение России. Я стал аспирантом так называемого Восточного семинара Берлинского университета. Первоначально созданный Бисмарком для подготовки дипломатов, работающих на Востоке, этот своеобразный факультет к тому времени превратился в центр по изучению восточных культур. Русское отделение выдавало окончившим его дипломы переводчиков. Однако экзамены следовало сдавать не только по языку, но и по истории государства и права, и по экономической географии России.

Благодаря тому, что я уже узнал кое-что о России до приезда в Берлин, я смог сравнительно легко сдать экзамены в конце первого года обучения. Во время второго года обучения мы изучали русскую историю на университетском уровне, а также русский язык и литературу (с частными преподавателями). Я занимался на семинарах у двух выдающихся профессоров русской истории, Отто Герша и Карла Штелина. Герш был не только историком, но и консервативным политиком и политологом, депутатом рейхстага. Он занимался не собственно Россией, а историей Восточной Европы в целом. Его студенты и аспиранты поражали меня глубиной своих знаний. Из-за своей слабой подготовленности я не смог получить многого от его семинарских занятий, но считаю свое обучение у него очень полезным, как благодаря знакомству с академической методологией, так и благодаря общению с интересными людьми.

⁵ Перед этим в Латвии произошел просоветский переворот, свергли правительство Ульманиса. В 1941–1945 гг. Латвию, как известно, оккупировали нацисты, с которыми активно сотрудничали местные «национальные шовинисты». Таким образом, включение Латвии в состав СССР было фактически отсрочено на неполных пять лет.

⁶ До 1940 г. Вильно (Вильнюс) входил в состав Польши, и только в 1940 г. Вильнюсский край воссоединился с Литовской ССР.

Штелин, создатель одного из лучших курсов по истории современной России, был настоящим самоотверженным ученым. На своих студентов и аспирантов он смотрел как на помощников в исследованиях и давал нам частные научные темы в соответствии со своими интересами. Я подготовил для него доклад на основе воспоминаний кремлевского библиотекаря о периоде оккупации Москвы Наполеоном. Не знаю, в какой мере эта источниковедческая работа оказалась полезной профессору, но для меня она явилась первым и постольку очень ценным опытом подобного исторического исследования.

Мои частные преподаватели русского языка были не профессиональными педагогами, а просто культурными русскими эмигрантами, с которыми я разговаривал и читал им вслух русских классиков из «Курса русской истории» Ключевского. Основателем новой системы обучения русскому языку был тогда Роберт Келли, глава восточноевропейского отдела Госдепартамента. Смысл его программы состоял в том, чтобы дать нам русскую языковую среду, сравнимую с той, в которой жили образованные русские люди до революции; советологией же он не занимался. Однажды, во время учебы в Берлине, я написал ему, что в Берлинском университете организованы, пожалуй, лучшие на Западе исследования по советским финансам, советской политической структуре и т. д. Я спрашивал, не заняться ли мне какими-то из этих дисциплин, и он мне ответил, что делать этого не стоит. Сначала мне следует хорошо изучить традиционную русскую культуру, а остальное придет позднее. За это разумное решение проблемы я был ему признателен. К концу второго года обучения в Берлине я заметно продвинулся в изучении русской истории, литературы и языка. Языковые знания я продолжал совершенствовать в последующие годы в русскоязычной среде, но полученных в то время основ было уже достаточно для моих профессиональных целей. К этому времени я уже устал от учения и хотел вернуться к практической работе. Келли не возражал, и решили, что я, не пройдя третьего года обучения, вернусь в Ригу, для работы в русском отделе американского представительства. До установления дипломатических отношений между США и Советским Союзом оставалось еще два года, и это назначение являлось в то время последним звеном для тех, кого готовили к работе в России.

Не так уж много можно рассказать о моей частной жизни в период учебы в Берлине. Я жил в тесных, сверх-меблированных комнатах в немецком стиле. Однажды мне удалось опубликовать статью в либеральном немецком журнале. Были у меня друзья – немцы, американцы, англичане и русские. Среди них мне запомнилась одна нищая семья – мать, сын и дочь, – жившая в одном из подвалов в Шпандау. Никто из них не имел постоянного заработка. Сын пытался писать книги, дочь училась игре на пианино. Все трое были страшно непрактичными и беспомощными. Я, как мог, пытался помочь им, но они жили от одного кризиса до другого, и выжить им удавалось лишь каким-то чудом божьим, словно в награду за их совершенную невинность и терпение. Эти люди не признавали ничего регулярного, могли совершенно неожиданно прийти в гости, причем, когда у них была такая возможность, приносили даже небольшие подарки. Я был признателен за их привязанность ко мне, было приятно, что эти русские воспринимают меня как своего, а не как иностранца.

Атмосферу тогдашнего, догитлеровского, Берлина, как и мои впечатления об этом городе, может быть, лучше всего передает одна из моих дневниковых записей от 7 февраля 1931 года:

«Наконец-то похолодало, и сухой снег падает в вечерних сумерках на проезжую часть Кайзераллее, смешиваясь с дорожной грязью. Над окнами, которые покрыты морозными узорами, висят малоподходящие в такое время рекламные плакаты с видами мест отдыха – Тегельзее, Мугельзее и других, причем на всех изображены озера, летнее солнце и яхты.

В Берлине не так важно, в каком именно районе вы живете, – в любом случае вы чувствуете себя не частью района, но частью города в целом.

На Луизенштрассе... Впрочем, это было давно, с тех пор город изменился. Да изменился и я сам.

Из окон комнаты на Мюленштрассе видна площадь перед магистратом, а кроме того, еще и уголок городского парка, в том месте, где находится конечная остановка автобуса номер 14. Там всегда стоят два или три автобуса, прежде чем отправиться в обратный путь, в восточную часть города. Здесь обычно шум от звонков трамваев смешивается с гулом автобусных моторов. Одинокая проститутка обходит вокруг квартала, словно птица в поисках съестного. Интересно, какую добычу может она найти здесь, в этой вовсе не эротической части города. Иногда на этой площади возникает что-то вроде небольшого базара, а иной раз по ней проходят политические демонстрации – колонны вызывающего вида молодых людей в спортивных костюмах, со знаменами и барабанами.

Окна комнаты на Гизебрехтштрассе выходят на маленький, жалкий дворик, именуемый садом. На этом дворике есть несколько деревьев, несколько контейнеров для мусора и огромное количество грязных кошек, орущих в летние ночи. В теплые воскресные дни жители дома выходят на балконы, читают газеты, пьют кофе, и во дворе стоит страшный шум, поскольку одновременно играет радио, звучит церковная музыка, и отрывки из опер Вагнера смешиваются с резкими звуками джаза. Недалеко от Гизебрехтштрассе находится Курфюрстендам. Там на углу есть кафе, где подают невкусную еду, но зато отсюда можно позвонить по телефону, не сделав никаких покупок, а это бывает очень полезно, когда нет ключа и нельзя попасть в квартиру. Однажды, когда и этот телефон не работал, мне пришлось ночевать в кредит в ультрасовременном отеле неподалеку от кафе. Вообще же этот бульвар – очень оживленное место, и транспорт ходит по нему в любое время дня и ночи.

На Гитцигштрассе стоят большие старинные здания, окруженные железными изгородями. Здесь также и днем и ночью ездят машины, лимузины и такси, будто напоминая, что это – всего лишь участок дороги, связывающий между собой центры городской жизни.

Цельтен похож на сельскую местность. Там нет ни одного большого магазина. Этот пригород находится между берегом реки и городским парком, и здесь царит тишина, нарушаемая только звуками оркестров в Крольском саду. Но даже здесь, в столичном пригороде, чувствуешь, что общаться не с кем. Вдоль бесконечных улиц стоят мрачные виллы, все разные, но при этом – страшно похожие одна на другую. Весь облик этого места указывает на то, что здесь еще недавно рос сосновый бор. Днем в этих краях редко кто-то бывает, а по ночам тут стоит удивительная тишина, изредка нарушаемая шагами запоздалого прохожего, возвращающегося домой, или звонком одинокого трамвая, едущего по ночной улице неизвестно откуда и неизвестно куда».

* * *

В последний период моей берлинской учебы, летом 1931 года, я познакомился с молодой норвежкой Аннелизой Сэренсен, которая жила в Берлине у своей английской родни. Мы с нею

были помолвлены. В июле она отправилась в Норвегию, чтобы сообщить эту новость своим ничего не подозревавшим родителям. Вскоре после этого и я совершил путешествие на север, чтобы представиться родителям своей невесты. Я поехал туда в элегантно открытой машине, которую приобрел за год до того (и очень ею гордился).

Для описания начала этого путешествия я снова обращаюсь к своему дневнику, чтобы передать атмосферу того времени:

«Дорога на Штеттин плохая. На полях идет уборка урожая. Сегодня суббота, 8 августа. На деревенской улице развеваются флаги, и какой-то оратор громко взывает к народу: „Ни у кого не осталось денег. Французы нас всех обездолили! Продолжение этой политики...“

В Штеттине я сразу направился в порт. Пока я ждал своего корабля, Володя и Шура, пришедшие меня проводить, куда-то ушли. Вскоре они вернулись с охапками цветов, купленных на последние деньги. Они очень серьезно отнеслись к моему отъезду. Не разум, а чувство подсказало им, что это конец моего пребывания в Берлине, а потому прощаемся мы всерьез.

Когда корабль уже отошел от причала, у берега остановилось такси и водитель дал резкий и длительный сигнал. Из машины вышла полная дама, нагруженная десятком свертков, и стала махать зонтиком в нашу сторону. Корабль дал задний ход и снова остановился. Пока дама взбиралась по трапу, мы с моими друзьями снова попрощались за руку, и Володя дал мне их новый адрес, записанный на клочке бумаги. Корабль снова отошел от берега и поплыл вниз по реке. Я стоял на корме и, как стопроцентный немец, махал платочком, пока маленькие фигурки на берегу не исчезли из поля моего зрения.

Теперь это путешествие показалось мне значительно менее романтичным, чем три года назад, когда я уезжал в Балтийские страны. Очевидно, я с тех пор стал смотреть на вещи иначе, а возможно, я просто устал. Уже совсем стемнело, когда мы вышли в море у Свинемюнде. Глядя на удалявшийся берег, я думал о том, что прошедшая берлинская жизнь теперь уже позади, у меня же осталось некое чувство пустоты».

Три дня я провел в Копенгагене и, вместо того чтобы отдохнуть, возился с машиной. Несмотря на летнюю жару, я простудился. Доехав до Фредериксгава на севере Дании, я пересел на старый паром, который следовал через Скагеррацкий пролив в город Кристианстанд на южном берегу Норвегии, где жила моя невеста. Во время этого путешествия я почувствовал, что заболел. Вечером я прибыл на место и оказался в гостях в милой патриархальной норвежской семье. По местным традициям, мы, несмотря на мое состояние, засиделись до поздней ночи, пили кофе с коньяком, курили сигары и вели неторопливую семейную беседу. Вечер этот все же оказался довольно приятным. Но мне страшно подумать, какое впечатление должен был произвести на это солидное норвежское семейство невзрачный, очень нервный и не очень здоровый американец, которого они встретили в порту. Родители моей невесты, очевидно, легли спать в еще большей тревоге, чем при ожидании моего появления.

И все же с тех пор и навсегда меня приняли в этой семье, как сына и брата, чьи недостатки стараются по возможности не замечать, а достоинствам воздают должное. Я навсегда сохранил чувство признательности к родителям жены: к ее матери, открытой, добродушной женщине, полной чувства собственного достоинства, и к ее отцу, сильному духом человеку, которого не сломало пребывание в нацистском концентрационном лагере, и чью их память. От них обоих я никогда не слышал грубого слова и не мог пожаловаться на какую-либо несправедливость. Эта семья подарила мне второй дом и даже вторую родину, которой стала для меня Норвегия.

В сентябре мы с моей невестой поженились и отправились в свадебное путешествие в Вену. Эта столица к тому времени утратила былое имперское величие, но сохранила былое

гостеприимство, несмотря на затронувший Австрию тяжелый экономический кризис. По окончании медового месяца мы уехали в Ригу, где и начали семейную жизнь.

Мы приехали туда в пору осеннего ненастья, и Рига показалась нам пустой и мрачноватой, по контрасту с тем столичным блеском, который запомнился мне в пору моей холостяцкой жизни в этом городе. Прежние мои товарищи теперь выглядели настороженными, недоверчивыми людьми, не склонными к дружескому общению. Мы с молодой женой почувствовали себя выключенными из общения с прежним кругом моих знакомых.

Сначала мы сняли два верхних этажа в бывшем доме фабриканта, в одном из рабочих предместий Риги. (Я заметил, что в царской России фабриканты имели обыкновение жить поблизости от своих заводов и на территории рабочих поселков, и, как я подозреваю, это обстоятельство – одна из причин распространения марксизма среди русских рабочих.) Дом находился рядом с парком, и зимой здесь было очень тихо. Но в мае, к нашему ужасу, в парке соорудили эстраду, на которой каждые субботу и воскресенье стали оглушительно играть духовые оркестры, и под эту резкую, негармоничную музыку плясала на танцплощадке латышская молодежь. Оркестры играли всего пять бесконечно повторяемых мелодий, сменявших друг друга, по выходным дням в течение всего лета. От этого шума невозможно было бы спрятаться, даже забравшись в чулан. Это испытание закончилось лишь осенью. Тяжело пришлось моей жене, забеременевшей еще во время свадебного путешествия. Однако наша дочка, которую мы назвали Грейс, благополучно родилась в июне, в сезон белых ночей.

В то время уже бушевал мировой экономический кризис. У меня имелась небольшая сумма денег, унаследованная от матери. Именно в это время я истратил все свои сбережения. Однако теперь я считаю, что во всем этом была и положительная сторона – по крайней мере, с тех пор я знал, какие деньги я сам заработал, а какие – нет. В то же самое время конгресс отреагировал на кризис, лишив нас рентных доходов и урезав наше жалованье с помощью следующего маневра: мы были обязаны взять месячный отпуск без оплаты. В целом, по моим воспоминаниям, наше официальное вознаграждение урезалось более чем на половину, притом без предупреждения. Мы ничего не могли изменить в семейных обстоятельствах до осени. На зимнее время нам пришлось покинуть прежнее жилье и снять квартиру в Форбурге, где жили холостяки.

К концу лета 1933 года я получил право на отпуск, чтобы съездить домой. Ребенка мы оставили у родных в Норвегии, а потом отправились в Копенгаген, а оттуда – на корабле в Нью-Йорк. Хотя я тогда еще не знал об этом, на службу в Ригу мне не суждено было вернуться.

Я обещал не слишком утомлять читателя, но сделаю исключение для одного из путешествий по Балтике в период великой депрессии, чтобы представить обстановку в то время. И имею в виду свою поездку вместе с бывшим однокурсником Бернардом Гаффером в порт Либау⁷ (Лиепая) поздней осенью 1932 года. До Первой мировой войны Либава была процветающим портовым городом и промышленным центром.

Вот рассказ о нашем визите в этот город.

«Мы выехали из Риги на машине в ноябрьский день, уже далеко за полдень, когда стало смеркаться. На реках начался ледоход, в связи с чем убрали понтонный мост, и нам пришлось проехать по высокому железному мосту выше по течению реки.

Дорога на Митау⁸ прежде была частью стратегической магистрали, соединявшей Петербург с немецкой границей. Сейчас она покрыта скользкой осенней грязью и никогда не высыхает. Мир вокруг нас погружен в ночную темноту. Кое-где можно увидеть крестьянские телеги и крытые повозки. Этим крестьянам приходится ехать несколько дней по скользкой дороге

⁷ Либау – немецкий вариант названия; русский вариант до 1917 г. – Либава.

⁸ Имеется в виду Митава (Елгава).

в промозглую погоду, чтобы продать свой товар в Риге за один-два доллара. Они ночуют на дороге, а их лошади проявляют философское равнодушие к сигналам автомобилей.

В Митаве мы сели на поезд и добрались до места назначения в вагоне второго класса в обществе двух спящих офицеров и двух немецких бизнесменов. Вечером следующего дня мы приехали в Либаву. Извозчик на дрожках довез нас до площади и остановился у гостиницы. Мальчик-слуга забрал у нас наши чемоданы, вошел вместе с нами в холодное здание и провел через темный вестибюль, который, насколько можно было судить по его виду, ранее имел гораздо более привлекательный вид.

Вечер мы провели в городском ночном кафе. Там же присутствовали и наши соседи по вагону, немецкие предприниматели, поселившиеся в той же гостинице, что и мы. Кроме нас, там было еще двое-трое гостей. За одним из столиков сидели евреи. Подавальщицы на кухне заглядывали в обеденный зал, заинтересованные присутствием приезжих. Евреи вполголоса обсуждали возможность обойти американский иммиграционный закон, отправившись сначала на Кубу, откуда можно будет с помощью контрабандистов попасть в Америку. Маленький оркестрик играл прошлогодние берлинские шлягеры. Вся эта „ночная жизнь“ прекратилась около полуночи, когда евреи заплатили по счету, оркестранты стали собирать инструменты, а официантки – убирать со столов.

Мы решили прогуляться перед сном. Мы шли под морозящим дождем по узким улочкам, обычным для городов Северной Европы. Откуда-то издали доносился гул моря. Дойдя до конца одной из улиц, мы увидели впечатляющее здание эпохи Ренессанса у входа в небольшой парк, где не было ни души. Мы быстро прошли парк до конца. Дальше идти, особенно в полной темноте, было невозможно – начинались дюны, и мы прервали прогулку.

Утром следующего дня солнечный свет с трудом пробивался сквозь тучи. По-прежнему шел дождь. За завтраком мы просматриваем местные газеты, а после завтрака – гуляем по городу. Пройдя через базарную площадь, выходим к великолепному зданию католической церкви, построенной в XVIII веке в готическом стиле, свойственном Северной Польше и Восточной Германии. Либава – старый город, возникший на месте рыбацкой деревни после разделов Польши, когда балтийские провинции вошли в состав Российской империи. Здесь смешались культурные влияния немецкого лютеранства, польского католицизма и русского православия, поскольку эта земля не раз переходила из рук в руки. Настоящее экономическое развитие этого порта началось после строительства здесь в 1870-х годах железной дороги, связавшей Балтику с Украиной, житницей Российской империи. Город был рожден заново бурным экономическим развитием России в XIX веке. Но в нем нашло свое отражение как польское влияние (кирпичная католическая церковь и польское кладбище), так и влияние соседней Германии, проявившееся в облике и постройке вилл вдоль морского берега и в планировке городского парка.

Пройдя через дюны, мы попадаем на обширный пляж. До Первой мировой войны это излюбленное место отдыха представителей светского общества из имперского Петербурга и Москвы. Слава Либавы как курорта не уступала славе Крыма или Рижского взморья. Но сейчас, в ноябре 1932 года, этот пляж почти безлюден. Только у волнореза, в дальнем его конце, несколько крестьян собирают морские водоросли и грузят их на телеги.

В порту также царит тишина, хотя мы пришли сюда в будний день. Не видно ни одной живой души. Мы видим заброшенное здание таможни с выбитыми окнами. В зимнем порту стоит на приколе единственное грузовое латышское судно, словно пережидая зиму (а может быть, и кризис). В доках трава проросла между каменными плитами. Но гранит, вкопанный в землю посланцами Российской империи, еще долгие годы может ждать прибытия кораблей.

Мы проходим по фабричному району, примыкающему к порту. Над фабричными трубами не видно дыма. Большие дома, служившие резиденциями фабрикантам, теперь стоят почти пустые, с темными окнами и заколоченными дверями. Только квартиры привратников кажутся обитаемыми, и в этом простом факте есть нечто символическое – будто все оставшееся население города переселилось в квартиры для привратников и слуг. Это отражение духа времени, когда люди должны вести относительно примитивный образ жизни среди руин, напоминающих о более высокой цивилизации. Только ли в войне и кризисе дело? Будет ли этот порт снова полон кораблей? Заработают ли фабрики, как работали прежде? Наполнятся ли вновь людьми дома и гостиницы? Будет ли снова запущен весь экономический механизм города? Или же эти здания, подобно уголкам средневековой Европы, превратятся в музеи для будущих поколений? Не будут ли они, как часто бывает в России, заселены людьми, для которых ценность и первоначальное предназначение этих зданий не имеют значения?

В узком трамвайном вагоне мы возвращаемся назад вдоль пустых улиц, мимо остановившихся фабрик. А вечером, когда поезд уже везет нас обратно в Ригу, мы снова встречаемся в вагоне второго класса с теми же двумя немцами, которые курят русские сигареты и стоят, сосредоточенно глядя в окна вагона, мокрые от дождя».

* * *

Русский отдел американской миссии в Риге, где я работал до осени 1933 года, представлял собой небольшой исследовательский центр, который получал и изучал основные советские периодические издания и другие публикации, чтобы составлять для правительства США доклады о положении в Советском Союзе, прежде всего – в советской экономике.

Советские власти тотчас заподозрили, что наше исследовательское бюро занималось шпионажем. Однако это было совершенно ошибочное заключение. Мы никогда не имели никаких секретных агентов и никогда не хотели их иметь. Опыт показывает, что научный анализ легальной информации, которым мы занимались, может дать больше сведений о любой стране, чем усилия секретной разведывательной службы. Конечно, последнее может хорошо дополнить первое, но никак не может его заменить. Мы не имели ничего общего со службой разведки, и нам доставляло большое удовольствие на основе фактов показывать нелепость мрачных сообщений об экономических условиях в России, получаемых различными западными правительствами от разведывательных служб и присылаемых к нам для комментариев.

Я сам занимался составлением докладов по экономике России и смог за это время приобрести немалые знания по советской экономике и экономической географии. В 1933 году на Западе было всего три места с более или менее налаженным изучением советской экономики помимо нашего отдела: Бюро исследований русской экономики в Бирмингемском университете, Институт экономики России и стран Восточной Европы в Кенигсберге и Институт русской экономики в Праге (так называемый «Экономический кабинет»), которым руководил известный русский эмигрант Сергей Прокопович. Общими усилиями мы могли создать хорошую базу данных, чтобы получить, насколько возможно, верную картину советской экономики. Эта работа мне нравилась, однако быт в те времена кризиса, сокращение жалованья и общее состояние неопределенности не приносили особенных положительных эмоций. Отвлечься от этого в свободные дни и вечера после работы мне помогало мое увлечение Чеховым. Я собирал тогда материалы для его биографии. Биографию Чехова я так и не написал, зато изучил все 30 томов его сочинений. Это очень хорошее средство, чтобы получить представление о жизни дореволюционной России, и особое значение это имело в атмосфере Риги, где российская дореволюционная жизнь в какой-то мере еще сохранилась.

В целом же период моей службы в Риге можно расценить как завершение моего обучения. У меня тогда не было сколько-нибудь ответственных самостоятельных заданий, и я не имел отношения к реальной политике. Но в конце этого рижского периода я непосредственно столкнулся с американским политическим процессом. Понимая, что вопрос о «признании» советского правительства будет вскоре рассмотрен новой администрацией, я несколько недель изучал торговые соглашения, заключенные советским правительством с другими странами за последние годы. Меня прежде всего интересовало, в какой мере эти договоры реально защищают интересы других стран. Свой доклад на эту тему я отослал в Вашингтон в апреле 1933 года, чтобы привлечь внимание к двум примерам, когда формулировки соглашений, заключенных советскими властями, могли привести к тому, что интересы иностранцев в России совсем не будут защищены.

В одном случае речь шла о положениях советско-германского договора от 12 октября 1925 года, касавшихся ареста или задержания немецких граждан в СССР. Согласно соответствующему положению этого договора, в случае ареста немецкого гражданина немецкие власти получали уведомление об этом не позднее чем через неделю, и арестованный имел право на неотложное свидание с работником немецкой консульской службы. В докладе, отосланном в Вашингтон, я указал, что эта формулировка в действительности не обеспечивает должной защиты прав немецких граждан в России. Там отсутствовало важное положение о том, что консул должен встречаться с арестованным наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. Напротив, в соответствующей статье говорилось, что подобные встречи с консулом проходят только в присутствии советских сотрудников правоохранительных органов. Это создает зависимость заключенного от властей, которые могут заставить его говорить в беседе с консулом только то, что их устраивает. Особенно неадекватность этих формулировок советско-германского договора была очевидна на примере «Шахтинского дела» 1928 года. Тогда часть немецких инженеров, работавших в Донбассе, обвинили во вредительстве, а представители Германии не могли эффективно защищать обвиняемых, так как указанный договор не создавал для этого правовой базы.

Второй приведенный мною пример касался советско-германских переговоров в 1928 году, уже после «Шахтинского дела», которые должны были прояснить некоторые недоразумения, связанные с пониманием договора 1925 года. Тогда советскую делегацию попросили разъяснить, как она понимает экономический шпионаж, после чего было сделано следующее разъяснение:

«Распространенное мнение, будто получение экономической информации о Союзе Советских Социалистических Республик разрешается лишь постольку, поскольку такая информация публикуется в газетах и журналах, ошибочно. Право получения экономической информации в СССР, так же как и в других странах, ограничено только в случаях, составляющих коммерческую и промышленную тайну, или в случаях применения запрещенных методов получения такой информации (подкуп, кража, мошенничество и т. п.). В категорию коммерческих и промышленных тайн, естественно, входят общегосударственные экономические планы, поскольку они не являются опубликованными, но не сообщения, касающиеся экономических условий по отдельным предприятиям.

Союз Советских Социалистических Республик не имеет оснований создавать препятствия критической оценке своей экономической системы. Отсюда следует, что каждый имеет право обсуждать экономические вопросы и получать экономическую информацию, кроме той, которая, на основе

специальных указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий, не может быть сообщена иностранцам».⁹

Обратив внимание Вашингтона на формулировку указанного положения, я дал понять, что оно не гарантирует защиту от преследований иностранных граждан по обвинению в экономическом шпионаже. Я писал, что «в действительности иностранцы имеют очень ограниченные возможности получения экономической информации в России. Неопубликованная информация по общегосударственным экономическим планам, не предназначенная для иностранцев, может касаться большинства аспектов экономической жизни России. А на основании „указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий“ часто многие простые и важные экономические данные не могут быть получены иностранными гражданами. Ограниченное знакомство с советской экономической прессой показывает, что в эту категорию могут попасть данные о сборе зерновых, о добыче золота и т. п. Отсюда сбор и получение подобного рода информации в России уже могут быть квалифицированы как экономический шпионаж».¹⁰

Представьте себе мое удивление, когда после завершения переговоров с участием Литвинова в Вашингтоне в ноябре 1933 года я раскрыл газету и среди заявлений, подписанных Литвиновым в качестве предварительного условия американского признания, я нашел оба вышеприведенных спорных положения в неизменном виде. Очевидно, президент Рузвельт, которому Госдепартамент сообщил, что советское правительство уже подписывало документы с подобными формулировками, просто счел их убедительными и потребовал, чтобы Литвинов подписал новый документ с такими же положениями в качестве гарантий наших интересов. Я так и не узнал, или не был президент осведомлен, что на эти положения обратило внимание руководство США, как на не обеспечивающие интересы других стран, имеющих отношения с СССР, или же он был осведомлен об этом, но не обратил на это внимания, сочтя, что для не склонной к критическому анализу публики, в том числе для конгрессменов, указанных положений будет вполне достаточно. У общественности создалось впечатление, что американские дипломаты проявили в переговорах с Литвиновым достаточную бдительность и профессионализм.

Таким образом я получил урок, касающийся одной из характерных черт американских государственных деятелей, – их тенденции делать заявления и совершать те или иные акции, исходя не из последствий для международных дел (чего следовало ожидать), а из реакции на них американского общественного мнения и в особенности – конгресса. Политиков интересует, выглядят ли они внутри страны достаточно профессиональными и отстаивающими национальные интересы, пусть их действия и не приносят особой пользы этим интересам.

Подобно вели себя в некоторых ситуациях многие американские государственные деятели. Так поступил Джон Хэй в инциденте с «политикой открытых дверей». Так же во многих случаях поступали Франклин Рузвельт (эта характеристика Рузвельта, конечно, остается на совести автора) и Гарри Трумэн, выступивший с универсальной и претенциозной патриотической самоидеализацией – доктриной Трумэна. Даллес поступил так же, когда говорил об «освобождении» и «массированном возмездии», хотя не намеревался проводить все это на практике. Такие примеры можно было бы продолжать до бесконечности. Однако я понимаю, что каждый руководитель вынужден идти на те или иные компромиссы, чтобы в конце концов проводить ту или иную внешнюю политику (лучше всего понимал подобные вещи Рузвельт). Но подобная тенденция существует и делает тщетными многие усилия американских государственных деятелей.

⁹ Международные отношения США. Советский Союз, 1933–1939. С. 34–35.

¹⁰ Национальный архив Госдепартамента США. Дело 6610031/30. С. 48–49.

Пока американское общество и пресса не перестанут вести себя подобным образом, наша страна не будет иметь по-настоящему зрелой и эффективной внешней политики, достойной великой державы.

Возвращаясь к смыслу заверений Литвинова, я могу заметить: к счастью, политические интересы советских лидеров в тот период не предполагали каких-то преследований американских граждан в России. Настоящие американцы, приезжавшие в Россию на легальных неидеологических основаниях, как туризм или работа по контракту, редко (если вообще) сталкивались с этим. Гораздо больше советское руководство интересовали лица, родившиеся в России и претендовавшие на двойное гражданство, а также лица, как-то связанные с коммунистическим движением. В период чисток американскому коммунисту, прибывшему в Россию по партийным делам, угрожала большая опасность, чем обычному буржуа, никогда не проявлявшему симпатий к советской власти. Но если бы этого потребовали интересы советских лидеров, то самый невинный американский турист или специалист мог бы стать жертвой ареста или преследований в той или иной форме, а заявления не помешали бы этому, поскольку не давали американским властям юридических оснований вмешиваться в подобные дела.

Вообще, во всем, что касалось судьбы иностранцев в России, советские власти брали на себя обязательства делать только то, что они и так бы делали в собственных интересах, даже если бы не существовало договоров. Кроме того, ГПУ, как тогда называлась советская секретная служба, жило по своим законам, и российский МИД был бессилен на него повлиять, даже если бы захотел. Для представителей других стран в Москве существовали как бы две власти, причем апеллировать можно было только к тем, кто ничего не решал. Таким образом, эффективные средства защиты иностранных граждан в России отсутствовали, кроме разве политического вмешательства на высшем уровне.

Три предыдущие республиканские администрации США воздерживались от признания советского правительства прежде всего по двум важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по государственным, то по партийным каналам, поддерживало революционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств предыдущих русских правительств, ни возмещать убытки американским фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мнения относительно признания Советской России. Я заявил, что, по моему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указанных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить признание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же ответило большинство моих коллег.

Хотя наши мнения должны были изучить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если бы ознакомился. Они не решали стоявшей перед ним политической проблемы. Оба этих вопроса вызывали его интерес не сами по себе (и я думаю, он был прав в отношении долгов и претензий), а постольку, поскольку они интересовали американское общественное мнение и влиятельные группы населения. Для него было главное создать впечатление заботы об этих вопросах, а не на самом деле заботиться об их решении. Он дорожил восстановлением взаимоотношений с Советским Союзом ради отрезвления немецких нацистов и японских милитаристов.

Я не знаю, насколько верны были расчеты президента. Что касается меня, то я был настроен скептически. Никогда, ни в то время, ни позднее, я не считал Советский Союз подходящим реальным или потенциальным союзником для нашей страны. Особенно опасной каза-

лась мне идея опереться на советскую мощь, вместо того чтобы развивать или мобилизовать наши собственные ресурсы.

Глава 3

МОСКВА И ВАШИНГТОН В 1930-Х ГОДАХ

Годы, последовавшие за установлением дипломатических отношений между США и Советским Союзом, я провел по большей части в России. Подобно рижскому и берлинскому периоду моей службы это были в первую очередь годы обучения и получения опыта.

В момент объявления о признании Соединенными Штатами Советского Союза я находился в отпуске в Вашингтоне. К этому событию я не имел почти никакого отношения, если не считать небольшого участия в подготовке докладов для участников переговоров с американской стороны. Но дня через два после окончания переговоров один из друзей представил меня Уильяму Баллиту, в то время – советнику президента в области отношений с Россией, впоследствии ставшему первым нашим послом в Советском Союзе. Узнав, что я говорю по-русски, Баллит проявил ко мне интерес и задал ряд вопросов, касающихся советской экономики. Когда он отправился в Москву для того, чтобы формально приступить к своим обязанностям и выбрать здание для будущего посольства, он взял меня с собой в качестве помощника и переводчика. Вместе с другим американским дипломатом, мистером Флэком, я ассистировал ему во время исторического вручения Калинину верительных грамот. Когда же он через несколько дней вернулся в США, чтобы набрать штат посольства, то оставил меня в Москве в качестве своего неофициального представителя для поддержания связей с советскими властями и выполнения некоторых хозяйственных функций. Таким образом, я стал первым американским дипломатом, регулярно жившим в Москве со времен отъезда отсюда нашего бывшего генерального консула Деуитта Пулла.

В ту зиму я жил в гостинице «Националь» по соседству с будущим зданием нашего посольства. Ко мне приехала жена. Кроме того, с нами работал секретарь – мужчина, живший в той же гостинице. В буфете «Националя» я случайно познакомился с молодым американцем Чарльзом Тэйером, который впоследствии также стал дипломатом и автором довольно живого описания будней нашего посольства в тот период. В то время он был туристом. Мне не хватало людей для работы, и я уговорил его устроиться к нам на должность рассыльного. Так мы, все четверо, и составляли фактически весь штат американского посольства в Москве. У нас не было ни специального помещения, ни оборудования, а для связи с американским правительством мы пользовались обычным телеграфным отделением. И все же, при отсутствии всякой бюрократии, нам за несколько недель удалось сделать больше, чем всему штату посольства, прибывшему в Москву, за первый год его существования.

Сейчас я даже с удовольствием вспоминаю тот первый период работы в Москве. Сильные московские морозы оказывали на нас бодрящее действие. Помню, что тогда мне было достаточно поспать четыре-пять часов и чувствовать себя работоспособным. Гостиница наша стояла в самом центре, а старая Москва тогда еще в значительной мере сохранила свой облик. Люди ездили по городу на немногочисленных трамваях и троллейбусах, а строительство московского метро только начиналось. На улицах, примыкающих к «Националю», мы часто встречали молодых добровольцев-метростроевцев, парней и девушек, в грязной строительной спецодежде. Москва оставалась тогда многолюдным, но уютным и живописным городом, жить в котором, с нашей точки зрения, было скорее приятно. Американские журналисты, такие, например, как Уолтер Дюранти, Билл Стокмэн, Уильям Чемберлен, приглашали нас на свои веселые вечеринки, посещаемые тогда и русскими. Я сохранил приятные воспоминания о том времени, ставшем примером того, какими могли бы быть советско-американские отношения при других обстоятельствах.

Когда штат американского посольства прибыл в Москву в марте 1934 года, меня назначили одним из секретарей, и я оставался на этой службе до лета 1937 года, за исключением

пребывания в течение нескольких месяцев в Вене, где я лечился в 1935 году. За это время, помимо Чарли Тэйера, я приобрел много хороших друзей. Мы, американцы, завели друзей также среди дипломатов в других миссиях, прежде всего в посольствах Германии, Франции и Италии. Вообще воспоминания о друзьях играют главную роль в моем отношении к этому периоду своей жизни. Общение с ними многому научило меня. Как некогда в Риге, мы часто проводили время в оживленных и жарких дискуссиях, посвященных проблеме русского коммунизма. Споры наши носили вполне дружеский, но при этом и острый характер. Они во многом способствовали развитию моих представлений об этом явлении, тем более что все эти проблемы имели прямое отношение к нашей работе. Я хотел бы поблагодарить за это многих людей, но особенно надо выделить двоих.

Один из них – Лой Хендерсон, первый секретарь нашего посольства в 1934–1938 годах – человек большого ума и прекрасный профессионал, который не только отлично выполнял свои обязанности, но и очень хорошо ориентировался в политических проблемах, связанных с советским коммунизмом, и умел их решать.

Другой дипломат, заслуживающий особого упоминания, – Чарльз Болен, известный впоследствии как советник Рузвельта во время войны и американский посол в СССР и во Франции. Мы с ним оба были в числе первых специалистов, подготовленных к работе в России, и оба долгое время работали в ней. Николай Бухарин как-то (кажется, на суде) заметил, что интеллектуальная дружба создает особенно прочные связи между людьми.¹¹ Не знаю, верно ли это в целом. Можно сказать, что это было верно в том, что касалось Бухарина. Надо отметить, что нас с Боленом, с самого начала нашей работы в Москве, связывала интеллектуальная дружба. Это был человек очень одаренный от природы, настоящий генератор идей, для которого всегда особый интерес представляли проблемы, связанные с русским коммунизмом, и все, что в то время происходило в России. Ко мне он всегда относился с дружеским расположением и особой заботой, даже немного покровительственно. Мы с ним провели немало времени в спорах, принимавших иногда настолько резкий характер, что у окружающих могло возникнуть впечатление, будто мы ссорились. Однако этот человек помог мне избавиться от многих заблуждений, и ему я прежде всего обязан своим пониманием концепции наших взаимоотношений с Советской Россией. Мы с ним духовно породнились, и эта дружба из всех моих дружеских связей имела для меня наибольшее значение.

К сожалению, в штате сотрудников посольства, которых собрал Баллит, не хватало квалифицированного администратора и хозяйственника, а потому у нас в тот период было еще много организационных трудностей. В первые месяцы нас поселили на двух верхних этажах здания, именовавшегося тогда отелем «Савой», в районе Кузнецкого моста. Резиденция посла, находившаяся в двух с половиной милях от посольства, была тогда еще не обустроена. Своего транспорта мы еще не имели, и нам приходилось (хотя это было недешево) пользоваться «линкольнами», предоставленными «Интуристом». Однако и они часто не требовались, поскольку мы работали без диспетчеров и должной системы связи. В резиденции посла не было своего телефонного узла, а имелись лишь два аппарата, напрямую связанных с городом и непрерывно звонивших. В «Савое» положение с телефонами было еще хуже, а ресторан предназначался скорее для нужд помещиков прежних времен, проводивших часы за едой, а не для современного посольства, где людям нужно перекусить на скорую руку. Я упомянул далеко не обо всех трудностях такого рода, с которыми нам приходилось сталкиваться. И все же у нас было хорошее рабочее настроение, да и политическая атмосфера в России в то время была более спокойной и дружественной, чем в два последующих десятилетия.

Зимой 1934/35 года мы переехали в постоянную резиденцию на Моховой, рядом с гостиницей «Националь». Период технических трудностей закончился, и мы перешли к нашей обыч-

¹¹ Действительно, это было сказано в речи Бухарина на процессе право-троцкистского блока.

ной дипломатической работе. Но в это же самое время произошли драматические события, знаменовавшие новый поворот в судьбах современной России. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров.

Сергей Киров, глава ленинградской парторганизации – один из самых влиятельных партийных лидеров, – считался возможным преемником Сталина. Сейчас мы имеем большие основания полагать, что осенью 1934 года в руководстве партии произошел серьезный кризис, связанный со стремлением Сталина организовать судебное преследование тех коммунистических лидеров, которые выступали оппозиционно по отношению к нему в период его борьбы за власть в предшествующие годы. Вероятно, Кирова, хотя он открыто не выступал против Сталина, многие в партии считали способным противостоять последнему, так что Киров мог стать надеждой тех, кто опасался террора как средства решения политических противоречий. Кроме того, его убили накануне предполагаемого перевода в Москву (хотя Сталин долго противился такому переводу). Этот перевод укрепил бы позиции Кирова в руководстве партии. Известно, что ленинградские органы безопасности имели какое-то отношение к этому убийству (по крайней мере, к убийце).¹² К тому же было много разговоров (основанных на намеках в «секретном докладе» Н.С. Хрущева на XX съезде), будто сам Сталин имел какое-то отношение к этому делу.

Как бы там ни было, убийство Кирова явилось отправной точкой для больших чисток 1930-х годов. С этого времени и атмосфера дипломатической работы в Москве изменилась в худшую сторону. «Медовый месяц» советско-американских отношений в Москве завершился.

Через три дня после убийства Кирова я серьезно заболел, и в январе 1935 года меня отправили лечиться в Вену, где я оставался до ноября того же года. Пролечившись два месяца в госпитале, я смог приступить к работе в нашей венской миссии под началом нашего посланника в Вене Джорджа Мессершмитта. Я уже служил вместе с ним в Берлине и хорошо его знал. Он считался сторонником жесткой дисциплины, но ко мне относился скорее снисходительно. Еще в Берлине я восхищался его мужеством и умением находить решения в трудных ситуациях. Сейчас, как в Берлине, так и в Вене, он использовал свою волю и целеустремленность, чтобы противостоять нацистам, которых ненавидел от всей души.

Я могу смело утверждать, что этот человек, сухой и насмешливый, но всегда проявлявший принципиальность в отстаивании своих убеждений, оказал на меня огромное влияние.

По возвращении из Вены в 1935 году я продолжил дипломатическую службу в Москве. Работа моя тогда заключалась в основном в составлении аналитических докладов о политическом положении. Она опять-таки имела для меня познавательное значение, поскольку оперативной работы в то время было мало. В мои обязанности входило следить за ходом политических чисток в Москве, исходя из данных советской прессы и слухов, распространявшихся в столице. Не меньшее значение, чем анализ политической обстановки, для меня имела и первая реальная возможность знакомства с самой Россией, ее культурой, бытом, жизнью обычных людей.

Могут спросить, как же я, будучи иностранным дипломатом в России в период сталинских чисток, вообще мог получать такого рода впечатления, несмотря на все те меры, которые советский режим принимал, чтобы изолировать от населения иностранцев, а особенно дипломатов. Но эти меры достигли своей цели только отчасти. Контакты между нами и советскими гражданами, основанные на взаимном интересе и симпатиях, продолжали существовать (хотя для этого, конечно, требовалась известная изобретательность и осторожность). Пообщаться с простыми русскими людьми можно было в театрах, во время спортивных соревнований и иных общественных мероприятий. Кроме того, была также возможность путешествий в Петербург,

¹² Именно в этом было официально обвинено руководство НКВД в 1938 г.

на юг, на Кавказ. Я продолжал интересоваться Чеховым и бывал в местах, где жил этот писатель, а также посещал и сельскую местность, чтобы посмотреть, в каком состоянии были красивые средневековые русские церкви. Многие из них тогда стояли разрушенные, и мало кого в столице интересовался самим их существованием. Следует заметить, что я действительно интересовался всем этим, отправляясь в дорогу не ради каких-то иных целей и совершал бы мои путешествия, даже если бы при этом не получил множества впечатлений о жизни людей. Однако таких впечатлений у меня было множество.

Когда я оглядываюсь на Москву 1930-х годов, то думаю, что знание и понимание новой России, которая перенесла испытания, связанные с коллективизацией и индустриализацией, а теперь переживала период чисток, давались мне ценой большого труда. Самый большой недостаток в этом смысле, как я теперь вижу, – слабое знание истории русского революционного движения. К сожалению, в то время еще невозможно было воспользоваться прекрасными трудами Э. Картап, Леонарда Шапиро, Исаака Дойчера, Франко Вентури. К этому следует добавить, что я никогда не питал симпатий к советской власти, и неприязнь к сталинскому режиму не явилась следствием разочарования в прежних иллюзиях. В отличие от многих профессиональных аналитиков советской истории я сам не прошел через «марксистский период». Может быть, как я иногда думаю, было бы лучше, если бы такой период у меня был – ведь именно таким путем формировались лучшие исследователи советского опыта.

Возможно, дело еще в том, что я всегда чувствовал глубокую неприязнь к русскому марксизму. Я не могу принять бессердечного фанатизма тех, кто считает, что можно преследовать или «ликвидировать как класс» большое число людей – буржуазию и значительную часть крестьянства – просто потому, что эти люди родились с определенной классовой принадлежностью. Эта жестокая классовая вражда кажется мне лишь отражением тех феодальных институтов, которые Россия недавно отвергла. Тогда тоже преследовали людей по критерию рождения, независимо от индивидуальной вины. Я не вижу смысла в преследовании человека и членов его семьи на том лишь основании, что они родились буржуа, нежели на том основании, что они родились крепостными или евреями. Не мог я также не заметить, что многие люди, вставшие во главе этих преследований, сами не были пролетариями по происхождению. Если исходить из того, что добродетелью является тяжелый физический труд, то большинство русской коммунистической интеллигенции следовало бы отнести к буржуазии, подлежащей преследованиям. Многие стороны советской жизни вызывали у меня уважение и восхищение, но я всегда отвергал эту идеологию в целом. Если я уважал советских лидеров за мужество, решительность, политическую серьезность, то мне всегда были глубоко неприятны другие их политические характеристики – фанатичная ненависть к значительной части человечества, чрезмерная жестокость, уверенность в своей непогрешимости, неразборчивость в средствах, излишнюю любовь к секретности, властолюбие, скрывающееся за идеологическими установками.

Поэтому я не имел иллюзий, еще даже до того, как встретился с феноменом сталинизма в его апогее в 1930-х годах, когда огромная нация оказалась беззащитной перед невероятной хитростью человека, во многих отношениях выдающегося, но безжалостно жестокого и циничного. Из-за этих моих политических взглядов, сформировавшихся в тот период, у меня возникли разногласия с официальными установками Вашингтона, по крайней мере, на ближайшее десятилетие.

* * *

Не ограничиваясь ретроспективным взглядом на свою работу в Москве в 1933–1937 годах, я хотел бы сослаться также на некоторые документы, относящиеся к тому времени. Я считал, что только два из них представляют интерес. Первый доклад относится к 1936-му или

1937 году. Я совершенно не помню, с какой целью он был написан. Я уверен, что он никогда не публиковался. Этот документ находится в моей папке «Проблема войны и Советский Союз».

Я писал тогда о постоянной враждебности советского режима к некоммунистическим правительствам, которых он рассматривает как врагов, а на мирные отношения с ними смотрит только как на временное перемирие или «мирную передышку» в перерыве между конфликтами. Я писал о советском плане милитаризации, частью которого были и коллективизация, и пятилетние планы. Я утверждал, что советское правительство хочет лишь отсрочить враждебные действия до того времени, когда их военные приготовления будут завершены. Я писал, что именно поэтому Сталин заключает договоры с разными странами и готов признать обязательства, связанные с участием в Лиге Наций, но это делается не столько ради предотвращения новой мировой войны, сколько для того, чтобы войну вели другие, чтобы не было прочного мира между западноевропейскими державами. Признавая серьезность японской угрозы советскому Дальнему Востоку, я отмечал, что и сама советская политика в Азии способствовала появлению этой угрозы.¹³

Более скептически я оценивал реальность нацистской угрозы советским интересам. Я не отрицал, что нацизм угрожает другим странам, но рассматривал политику Гитлера как «пангерманистскую по преимуществу», с претензией на распространение власти рейха только на территории, прежде населенные или контролируемые немцами. Я писал, что это может относиться к соседним с Россией государствам, но не к России в границах 1936 года, хотя, полагал я, Гитлер может предложить Польше Украину в виде компенсации за потерянные западные земли. Но эти опасности я не считал реальными в ближайшее время и квалифицировал настойчивость, с которой русские твердят об этих опасностях, как свидетельство того, что они не вполне искренни, а их дипломатия может скорее обострить, чем смягчить эту ситуацию. По моей тогдашней формулировке, трудно предположить, что русскому правительству, занимающемуся прежде всего собственными делами, «в ближайшее время едва ли может угрожать опасность агрессии с Запада».

Вместе с тем мне казалось маловероятным, чтобы Советский Союз вовсе не подвергся ничьей агрессии. Как я отметил тогда, «социальный фанатизм и шовинизм, циничная политика балансирования на грани войны в отношениях с соседями могут отсрочить войну, но не помогут ее избежать». Я был уверен, что в случае начала войны, когда ее участники ослабят друг друга, Россия едва ли удержится от вмешательства, «скорее всего, в качестве хищника».

Сейчас очевидна слабость этого анализа. Я, конечно, недооценил возможность агрессии нацистов против России, хотя на окончательное решение Гитлера о нападении на нее повлияло упорство советской дипломатии в отношении Болгарии и Финляндии (что проявилось во время переговоров с Молотовым в 1940 году), а также и огромная численность армии, которую Сталин сосредоточил на западной границе. Гитлер не решился смириться с подобной концентрацией войск на своем фланге, когда не смог вторгнуться на Британские острова, и ему пришлось перенести атаку на английские позиции в Средиземноморье.

В этом докладе я также не предвидел, что СССР может подвергнуться прямому нападению. Но мое предположение, что Сталин постарается извлечь выгоду из войны между другими странами, подтвердилось в случае с финской войной 1939–1941 годов, а также тем, что он организовал агрессию против Болгарии и Японии в последнюю минуту перед крахом этих держав.¹⁴ Можно только догадываться, сколько подобных акций было бы предпринято, если бы Советская армия (как рассчитывал Сталин) оставалась вне большой войны.

¹³ Традиционная вековая экспансия Японии в Азии существовала задолго до появления Советского Союза и независимо от политики царской России; в XIX в. она совпала с экспансией в Азии западных держав.

¹⁴ Известно, что руководство СССР пошло на войну с Японией прежде всего по настоятельным просьбам союзников, в первую очередь – американцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.